

ВЛАДИСЛАВ
ОТРОШЕНКО

Тайная история творений



MMV

Владислав Отрошенко

**Тайная история
творений (сборник)**

«Автор»

2005

Отрошенко В. О.

Тайная история творений (сборник) / В. О. Отрошенко —
«Автор», 2005

ISBN 5-902764-05-X

В книге эссе-новелл Владислава Отрошенко «Тайная история творений» исследуются загадочные и мистические обстоятельства, сопровождавшие рождение великих произведений мировой философии и литературы, а также странные явления в жизни и творчестве их создателей – поэтов, писателей, философов разных эпох. Персонажи книги – Овидий, Катулл, Тютчев, Пушкин, Ходасевич, Гоголь, Платонов, Ницше, Шопенгауэр и другие – предстают перед читателем в такие моменты своего бытия, которые не поддаются рациональному объяснению. По жанру книга представляет собой своего рода эссеистическую прозу. Именно поэтому автор называет свои работы эссе-новеллами – каждая из них содержит острый сюжет, который развивается по законам художественного повествования, оставаясь при этом в рамках фактической достоверности. Издательство и автор благодарят художника Леонида Тишкова, любезно предоставившего возможность использовать в оформлении обложки его картину «Тайные знаки».

ISBN 5-902764-05-X

© Отрошенко В. О., 2005

© Автор, 2005

Содержание

Часть первая. Все явное однажды становится тайным...	5
Последняя метаморфоза Овидия	5
Сумасшествие Мировой Воли	12
Подвиг Катулла	18
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Владислав Отрошенко

Тайная история творений (сборник)

Часть первая. Все явное однажды становится тайным...

Последняя метаморфоза Овидия

В истории мировой литературы нельзя найти сочинителя более недооцененного, чем римский поэт Августа века Публий Овидий Назон.

Его всеветная двадцативековая слава говорит сегодня лишь об одном – о грандиозном жестокосердии потомков, воздавших поэту должное за всевозможные второстепенности, но отказавших ему в признании его первостепенной заслуги перед искусством, а значит и в истинной славе, на которую втайне рассчитывал (и был вправе рассчитывать) Овидий Назон.

Он рассчитывал на эту славу, вглядываясь, конечно, в века, гораздо более отдаленные от «золотого» Августа века – райского века для римской литературы. Пожалуй, слишком уж райского, чтоб быть восприимчивым к катастрофической новизне. Во всяком случае счастливые жители этого временного (и временного) элизиума, непосредственные свидетели величайшего творческого открытия, совершенного «злополучным Назоном», свидетели рядовые и вовсе не рядовые, те, кого аонийские сестры возвысили над просвещенной толпой, похитив их имена у «Петы – историк Тит Ливии, географ Страбон, оратор и декламатор Квинт Гатерий, законовед Атей Капитон, моралист-баснописец Федр, грамматик Антоний Руф, поэт Корнелий Север и оратор Кассий Север, сам божественный Август и даже верховный блюститель Палатинской библиотеки Гай Юлий Гигин, издававший виды и читавший все чтимое, – не в состоянии были понять того, что случилось с Овидием осенью года 761 от основания Рима или 8-го по РХ.

Ибо случившееся – в чем убеждают нас некоторые красноречивые факты – не распознавалось современниками Назона как явление реальной, мифологической или какой-нибудь иной действительности, которая позволяла бы строить о природе своих вещей вразумительные суждения.

В течение целого десятилетия, начиная с той переломной осени, когда поэтом внезапно овладел необыкновенный творческий замысел, в ослепительном свете которого ему показалось жалким все им написанное и писавшееся, когда вдохновение странного свойства, сулившее породить невиданный плод, заставило его бросить в огонь рукопись еще не завершенных «Метаморфоз»: пышный ночной костер, сдобренный ливианским папирусом, как бы символизировал разлуку поэта со всяческой достоверностью, будь то миф или явь, – начиная с этой осени и до конца своих дней Овидий-художник всецело находился за пределами, так сказать, умственной и чувственной ойкумены, освоенной веком Августа.

Но и в последующие времена – говорят нам факты, – во времена, заселенные иными цезарями и иными служителями аонид, нельзя было осознать и прочувствовать, какая великая метаморфоза произошла на заре принципата с автором славных «Метаморфоз» (все ж таки уцелевших – переписанных еще до сожжения беспощадно заботливыми друзьями). Как бы живо ни откликались на события Августа века новые граждане античной реальности – Сенека, Светоний, Тацит, Плутарх, Плинии Старший и Младший, – с какой бы вдумчивостью они ни всматривались в легендарные судьбы одаренных отцов, для них оставалось непо-

стижимым, что делал Овидий Назон с 8 по 18 год на северной окраине Рима, на «Садовом холме» (совр. Монте-Пинчо), неподалеку от Тибра, где разветвлялись Клодиева и Фламиниева дороги и где стояла, живописно окруженная зонтообразными пиниями и кустами ароматного мирта его загородная вилла – «сад», как простодушно называл сам Овидий это заветное и роковое место, облюбованное его коварной Музой, чье деспотическое могущество он испытал на себе в полной мере:¹

*Эти простертые под эриманфской Медведицей земли
Не отпускают меня, выжженный стужею край, —*

говорил он, избличая в тиранстве свою Музу, превратившую его в пленника неистребимых грез.

*То я вижу себя от стрел сарматских бегущим, То для тяжелых оков руки дающим врагу.
Но как же это случилось?*

Как случилось, что на 52 году своей жизни он вдруг увидел Понт, «вечною стужей знобимый», увидел «гетов лохматых», угрюмо стерегущих в ночи от сарматских нашествий свои чахлые, но безбрежные нивы, раскинувшиеся «под Полярной звездой», увидел «побережья холодного Истра», увидел некую чудовищную пустыню, отчизну сверкающего Борея, «где Ликаонова дочь ось над землею стремится», – увидел весь этот чудный и страшный простор, «не отпускавший» его десять лет?

Что за вопрос! Осведомленному жителю нынешнего века все известно до мельчайших подробностей.

Известно, что будто бы осенью 8 года Овидий ненадолго покинул Рим вместе со своим задушевным другом Коттой Максимом. Они отправились отдыхать на остров Эльба в Тирренском море (ок. 200 км к северу от Рима), где находились наследственные владения Котты, знатного и богатого юноши, чей батюшка Валерий Мессала, недюжинный полководец и одаренный оратор, покровительствовавший Овидию, скончался этой же осенью.

Друзья благополучно добрались до острова и расположились в имении рода Мессалы. Они приятно проводили время за декламацией стихов, за вином, за утонченными беседами, с грустью вспоминали старого Мессалу «красу латинской витийственной речи», совершали утренние прогулки по прибрежным холмам, покачиваясь в паланкинах, обменивались пустячными соображениями за дружеским обедом. Как вдруг (о, это поворотное – «вдруг», друг всех историй!) является гонец из Града от самого Августа! И является он с таким предписанием, от которого в сердца обоих друзей веет духом захватывающего кошмара, ибо оно вполне фантастично. Настолько фантастично, что Котта Максим, который хорошо посвящен (даром что юн) в таинство высочайших дел и намерений, сомневается в честности (или в благополучии душевного здоровья?) цезарева гонца. «Точно ли прав принесший известие?» – вопрошает он. Что может ответить на это поэт – голова его идет кругом, сердце разрывается на части:

Я колебался в ответ, меж двух обретаясь сомнений, В явном страхе не знал, «да» отвечать или «нет».

Смысл зловещего предписания состоит в том, что потомственный всадник и поэт Публий Овидий Назон должен немедленно явиться в Рим и предстать перед цезарем, дабы узнать о своем наказании. Потому что теперь он преступник... Да! И «злая молва» уже твердит о его «злополучье»... и слезы уже текут, «как растаявший снег под дыханием влажного Австра» по «скорбной щеке» поэта. И спасения нет. Или все ж таки есть? Есть еще свет надежды на пробуждение от кошмара – нужно только не погружаться в его общий, невыносимо тягостный смысл, нужно сосредоточиться на второстепенных деталях, и тогда, быть может, какая-нибудь

¹ Здесь и далее перевод стихов Овидия по изданию: Овидий. Скорбные элегии. Письма с Понта. М. «Наука», 1978.

из них дружественно подмигнет околдованному рассудку, подавая ему драгоценные знаки. Вот она, эта спасительная деталь: гонец, несмотря на грозную важность и высшую официальность убийственного предписания, требующего однозначной трактовки и немедленного исполнения, не предъявляет самого предписания – не предъявляет вообще никакой бумаги, написанной или заверенной принципсом. Ну, конечно, конечно! Это и позволяет поэту какое-то неопределенное время «обретаться меж двух сомнений» – меж двух несовместных миров. Да что там, это ему позволяет радостно уличить гонца в злохитренной призрачности!...

Но поэт уличать не стал. Известно, что он отправился в Рим. Известно, далее, что, очутившись в Граде, он тут же предстал перед лицом Августа. Август ужасен, он весь охвачен мстительным гневом. Он выглядит так, словно он только что пережил самое подлое и свирепое оскорбление. Оно уязвило его до сокровенных глубин души. И из глубин его души, воспрянувшей для возмездия, неукротимо вздымается пламя гнева. Но гнев этот в то же время совершенно безличен, он лишь проявление некой возвышенной, самосушей ярости, которая должна обрушиться на поэта независимо ни от чего. И вот она уже обрушивается. Вот уже рисуется перед Назоном по-своему величественная картина его чудовищных преступлений. И поэт уже не понимает, как мог он усомниться в том, о чем ему возвестил на Эльбе страшный гонец! Как мог он не поверить в то, что он преступник! О, теперь-то он отлично ощущает, сколь тяжки его грехи перед Римским Законом, и он даже знает, до куда должен «простирается гнев» послушного Закону принципса – «до казни». Остается молить милосердных богов лишь о том, чтобы римский сенат как можно быстрее утвердил справедливое решение и чтобы казнь его была незатейливой... Но что это? Чудится ли это Назону или на самом деле перед глазами его эта бумага! Нет, это не постановление сената или особого суда. Это – изданный Августом эдикт, специальная форма указа, к которой принципс может прибегнуть лишь в исключительных случаях, когда дело нельзя подвергнуть ни следственному, ни судебному разбирательству, – когда самого дела как бы и вовсе не существует, ибо оно не подпадает ни под какие действующие законы... И что же видит Назон! Боги щадят его. Из указа явствует, что Назон не лишается жизни! Не лишается он и гражданских прав. Не лишается всаднического достоинства. Но и это еще не все. Ни малейшая часть его личного имущества не отчуждается у него. Таким же образом и все его достояние – «наследие предков» – дом у самого Капитолия, земли и, конечно же, вилла близ Тибра, излюбленное обиталище его странной Музы, остается за ним.

Все, что требуется от Назона, так это немедленно удалиться – «к припонтийским отправиться пашням, / Мчащейся в ссылку кормой скифскую резать волну». То есть цезарь приказывает Назону тотчас взойти на корабль «Шлемоносная Минерва», хранимый «приязнью белокурой богини», той же самой богини, что охраняла корабль Ясона, и мчаться на этом стремительном корабле, собрате мифического «Арго», туда, «где кончается свет», на северо-восток, до «предела земного круга», в места, за которыми только «ничто: только холод, мрак и безлюдье»... О, эти загадочные места, известные в Риме «лишь по названиям». О, эти демонические пространства! О, эти искристые вихри под летучей луной!... Томя... Томя... призрачный огонек, тускло мерцающий за пределами мира, озаренного светом разума и сиянием римских мечей. В Томя! – в это скопище чадных убежищ в этот немислимый городок полудиких сарматов и гетов, еще не знакомых с латинской речью и властью цезаревых наместников, в эту гибельную страну, в эти злосчастные степи, любезные только Борею да буйно странствующим народам, – вот куда должен мчаться Назон!

Что ж, хорошо известно, что Назон безупречно исполнил приказ.

Он быстро собрался. Так быстро, что «не успел для себя ни рабов, ни спутника выбрать», – он даже «платья не взял» и «никаких ссыльному нужных вещей», потому что приказ, высочайший приказ, выше которого только воля богов, не допускал ни малейшего промедления, – простился с домашними и родными; сам не зная зачем (приспел такой феерический

час, когда «луна в небесах ночи коней погнала»), бросил в «жадный огонь» торопливой рукой «песни о людях, менявших свой облик», и навсегда исчез для великого Рима, для ясного мира.

Вот как случилось, что Назон «и Скифию тоже увидел»... Был гонец. Был гнев. Был корабль. И был роковой приказ, который...

...и привел меня в край, безотрадный для взгляда, Где под морозной звездой берег Евксинский лежит.

В этом-то краю, в Томах (совр. Констанца в Румынии), Овидий – что тоже известно наилучшим образом – и создал свои самые жалкие, самые отвратительные, являющиеся порождением старческого бессилия, невыносимые произведения, в которых, как авторитетно трактует «История всемирной литературы» (Т. 1, М., 1983), он «обнаруживает заметный упадок поэтической изобретательности [...] изощряется в бесконечных вариациях одной-единственной темы – скорби изгнанника, но преодолеть однообразие материала ему уже плохо удастся, и он начинает оскудевать и повторяться», в которых, по заключению разнообразных исследователей, поэта Овидия уже нет, ибо он превращается из поэта в ничтожного льстеца Августа, в малодушного просителя, кое-как сплетающего и посылающего в Рим свои назойливо-горемычные песни в надежде, что они подвигнут влиятельных друзей на заступничество, а цезаря на снисхождение.

И, наконец, известно, что эти песни, эти «Скорбные элегии» и «Послания с Понта», – о них, о них идет речь! – не спасли Овидия: никто не изменил его участи. Он так и не вернулся, говоря языком скандинавских мифов, из мрачного и холодного Утгарда – окраинной зоны земли, где властвуют демоны и где страшное великолепие бессмысленных просторов неспособно соперничать с их враждебностью.

Да, мы все знаем! – немилосердно твердят потомки... Впрочем, классический российский ученый Михаил Гаспаров, обнародовавший в 1978 году в составе научного издания «Скорбных элегий» и «Посланий с Понта» (М., «Литературные памятники») обширную академическую статью «Овидий в ссылке», был уже, кажется, в полушаге от милосердия. Но все, что ему могла позволить репутация строгого мыслителя, так это осторожно выразить ни к чему не обязывающее, не нарушающее научно восстановленную картину Назоновой ссылки, как бы традиционное недоумение по поводу некоторых очень странных странностей, и прежде всего вот этой:

«Наказание было очень суровым. [...] Но ни современники, ни ближайшие потомки (как Сенека), ни позднейшие историки (как Тацит) не оставили нам ни единого упоминания о ссылке Овидия, хотя порю, казалось бы, этот пример сам просился им под перо. Все, что мы знаем, мы знаем из упоминаний самого Овидия в "Скорбных элегиях" и "Письмах с Понта". А упоминания эти, хоть и многочисленны, удивительно неопределенны».

Ну, конечно, конечно! нужно только попробовать вообразить себе это: Сенека, не просто «ближайший потомок», – его отрочество и юность пришлось на зрелые и старческие годы Овидия, – пишет трактат «О милосердии», где в одном месте (1,11) он противопоставляет кротости молодого Нерона жестокость Августа и, пользуясь для этого разнообразными примерами, упорно молчит о том, что Август сослал за пределы мира в смертоносные степи одного из величайших поэтов своего правления и, несмотря ни на какие мольбы последнего, не только не вернул его оттуда, но даже не изменил место ссылки на более безопасное, что было в порядке вещей, особенно если речь шла о полноправном римском гражданине, чье убийство или пленение какими-нибудь язигами, колхами или теми же буйными томскими сарматами явилось бы недопустимым оскорблением священной власти Рима. Нужно только попытаться представить беспредельное лукавство осведомленнейшего Светония, который во второй книге «Жизни двенадцати цезарей» упоминает среди сосланных Августом знаменитостей даже какого-то несчастного пантомима Пилада, но при этом делает вид, что он не имеет ни малейшего понятия о «нашумевшей» ссылке выдающегося стихотворца, а в четвертой книге, пере-

числѣя опальных писателей, чьи творения были запрещены и изъяты из библиотек во времена Августа и Тиберия (со слов Овидия, таковая участь постигла, разумеется, и его песни), не удосуживается вспомнить, шельмец, о нашем бедном поэте, хотя называет его друга Кассия Севера, высланного из Рима в том же 8 году. Нужно только взглянуть в обстоятельные труды Тацита, в сочинения Плутарха, в письма Плиния Младшего... Нет! Ничего этого не нужно делать.

И современники, и «ближайшие потомки», и «позднейшие историки» очень высоко ценили и почитали, судя по их упоминаниям, блистательного автора «Медеи», «Любовных элегий», «Фаст», «Науки любви» и, конечно же, несравненных «Метаморфоз». Но они еще не в состоянии были хоть как-нибудь реагировать (хотя бы просто сказать, что Овидий сошел сума!) на такие вещи, которые лежат между мифом и явью, – на художественный вымысел, и притом такой утонченный вымысел, который вбирает в себя узнаваемые черты реальности и в центре которого стоит собственное «я», сознательно превращенное в литературный персонаж. И поэтому все, что требуется для понимания «Скорбных элегий» и «Посланий с Понта», так это непредвзято взглянуть в эти более чем гениальные произведения. Для понимания Овидий оставил немало знаков.

В чем состояла причина его ссылки? Какова была его вина?... О! тут Овидий виртуозно показал, что вина его – это всего лишь второстепенная художественная условность, которая не нуждается в отчетливом оформлении. Ну, допустим, предлагает он, была только одна-единственная причина его злополучной ссылки: «лишь за стихи вредным признали» его, то есть он был осужден цезарем из-за «Науки любви», изданной и ставшей известной всему Риму за восемь лет до того, как вспыхнул вызванный этой вполне безобидной книгой ужасный гнев Августа: фантастически запоздалый и явно идиотский гнев. Нет, отступается Овидий: «Две погубили меня причины: стихи и оплошность». Или все же выразиться вот так: «Пал под гнетом одной, хоть и немалой вины»?... Или как-нибудь более замысловато, двояко: «Я ничего не свершил из того, что закон запрещает, / Но за собою вину большую должен признать»... А может, представить, что он «стал жертвой» неких «недавних событий»?... Или только «свидетелем гнусных и пагубных дел»?... Да-да! «Глаза провинились, увидевши нечто»!... Нет, лучше взять и грозно внушить, что его бедственная вина была настолько чрезвычайной и «тайной», что о ней «говорить и опасно, и долго», и в то же время, сбивая с толку, обиженно заявить, что она «даже слишком известна повсюду», чтоб ему «самому тут показанья давать». И, наконец, сказать с отчаянной прямою грядущим буквалистам и буквоедам, которые, не замечая в искусстве искусства, станут искать ответа, в чем согрешил Назон:

...искать ответа не нужно,

Пусть за «Наукой» моей спрятана будет вина.

Но и это, увы, не помогло. Буквалисты и буквоеды упорно искали его химерическую вину. И поиски их породили столь же химерическую, всепланетарного размаха книгу – Thirbault J. C. *The mystery of Ovid's exile*. Berkley, California UP, 1964 – в которой по поводу вины Назона изложено аж сто одиннадцать научно аргументированных мнений!...

Почему Овидий ведет речь именно о том «рубеже у левого берега Понта», где расположены Томи? Да по той же самой (внутренней, художественной) причине, по которой он дает своему кораблю имя богини Минервы. Место это, как и название корабля, прочно связано с мифом, который Овидий наиболее широко использует для сюжетного оформления «Скорбных элегий» и «Посланий с Понта», – с мифом о Ясоне, чью судьбу Овидий открыто и подчеркнуто сравнивает со своею судьбою.

По преданию, именно на том месте, где возникли Томи, разворачивалось наиболее трагическое – и наименее сказочное – событие Ясоновых странствий. Сюда, повествует Овидий в «Скорбных элегиях», Ясон приплыл вместе с волшебницей Медеей и ее малолетним братом Абсиртом «на корабле, что воинственным был попеченьем Минервы / Создан и первым прошел

Даль неиспытанных вод». Беглецов, похитивших Золотое руно, преследовал отец Медеи, царь колхов Ээт. Завидев его корабли, приближающиеся к берегу, Медея решила остановить родителя самым жестоким способом – она расчленила своего брата и вывесила его руки и голову на прибрежной скале... «Томами с этой поры зовется место, где тело / Брата родного сестра острым мечом рассекла», – говорит Овидий, на которого всегда производил неотразимое впечатление, как это справедливо замечает С. Ошеров в предисловии к «Метаморфозам» (М., 1977), образ Медеи, совершившей злодеяние ради любви к Ясону, то есть поражал его в сущности определенный фрагмент мифа о Ясоне – великая драма, разыгравшаяся с его любимыми героями в треклятых Томах.

Описание Том как места своей ссылки было, пожалуй, самой трудной задачей для Овидия – и, быть может, не столько творческой, сколько психологической. Он уже возвысился над мифом; миф уже служил лишь подручным материалом для его собственных вымыслов. Но Тома, невообразимые Тома, о которых даже Страбон, только что выпустивший в свет свою «Географию», не имел реалистичных сведений, – Тома Овидий вынужден был описывать, полностью подчиняясь мифологическим представлениям о северо-восточных окраинах ойкумены.

Здесь есть всё – и «вечный снег», и фантастический ветер, который «башни ровняет с землей, сносит, сметая, дома», и «отвратительные с виду в шкурах звериных люди», у которых «ледышки висят в волосах и звенят при движении», и замерзающие вина, которые не пьют, а, нарубив топором, поедают «кусками» (образ, позаимствованный Овидием из «Георгик» Вергилия, III, 364), а также вина, которые «сами собою стоят, сохраняя объемы кувшинов», лопнувших от мороза (см. «Географию» Страбона, кн. VII, III, 18), и «твердое море», промерзающее так, что по нему «как посуху путник пройдет» (см. там же), и рыбы, живьем «торчащие из льда», и многие другие образы, вызывающие некоторое замешательство у всякого добро-совестного ученого, по крайней мере у Гаспарова, сказавшего о них вот что: «бросается в глаза, что все они заранее знакомы Овидию и его читателям из популярных географических и этнографических книг – все это были факты настолько общеизвестные, что даже нет нужды искать для них те или иные источники Овидия, хотя, например, не шутя предполагалось, что он мог взять в ссылку вместо путеводителя Географию Страбона, которая была свежей новинкой в 8 г. н. э.».

Однако замешательство это, – речь ведь все-таки идет о ссылке, реальной ссылке! – тут же устраняется. «Овидий как бы сознательно стремится превратить свои образы, – объясняет ученый, – в условные знаки, чтобы читатель не задерживался на них взглядом, а проникал за них мыслью».

Да, надеясь на понимание далеких потомков, надеясь, что они хотя бы на чем-нибудь задержатся взглядом, Овидий многое превращал в безусловно ясные знаки. Зачем-то повторял на каждом шагу (словно его научил этому автор «Носа»), что «все было подлинно так, но не поверит никто», что «мой достоверный рассказ невероятным сочтут». Зачем-то произнес слова, которым звучать бы из уст какого-нибудь изощренного сочинителя XX века, ну, скажем, Набокова, обвиненного скучающими щелкоперами (ах, эта «Лолита»!) в педофилии: «Муза игрива моя, жизнь – безупречно скромна. / Книги мои в большинстве – один лишь вымысел лживый / И позволяют себе больше создателя их». Зачем-то написал поэму «Ибис», которая, по признанию недоумевающих филологов, является сознательной, утонченной и до крайности ернической пародией на «Скорбные элегии» и «Послания с Понта». Зачем?... Зачем?...

Впрочем, оставим эти вопросы и зададимся наконец последним и главным.

Была ли вся мистификация заранее обдуманна Овидием или она возникла совершенно случайно?

Быть может, на него произвела неизгладимое впечатление «География» Страбона? Она ведь была не просто «свежей новинкой», как выражается с явным лукавством Гаспаров, а

грандиозным, ошеломляющим творением, не знавшим себе равных по охвату описанного в нем мира. Ах, как было заманчиво перенестись воображением на самую границу этого мира, замкнуться, спрятаться ото всех на «Садовом холме» близ Тибра и мнить, Доверившись Музе, будто «живешь по соседству» с какой-нибудь страшной страной, «что лежит у предела земли и откуда / Люди и боги бегут»... Или, быть может, «Метаморфозы», писавшиеся с необычайной проникновенностью, побудили его изобразить свою собственную метаморфозу – внезапное превращение из беспечного и прославленного поэта в некоего скорбного и таинственного преступника, который «изгнан в предел ледяной крайнего круга земли»? Но очень может быть, что «Скорбные элегии» и «Послания с Понта» создавались в едином – безотчетном и вдохновенном – порыве. Вдруг явилась и повела, понесла за собою какая-нибудь безумно красивая, трагически возвышенная строка, вот эта:

Изнемогая, лежу за пределами стран и народов... Или другая:

Маюсь в бесплодных песках отдаленнейшей области света...

Нет, на этот вопрос действительно нельзя найти ответа. Исток вымысла – это предмет чересчур тонкий и неуловимый, чтоб пускаться по его поводу в рассуждения.

Но как бы то ни было, утешает одно: в защиту реальности Назоновой ссылки невозможно выставить ничего, кроме произведений самого Назона, истолкованных известным – давно известным – и самым неприемлемым для искусства образом. Неискоренимость такого истолкования наводит на мысль, что в нем заключено нечто большее, чем человеческая наивность или бессердечность. В нем заключено, быть может, некое высшее, божественное возмездие за страсть к вымыслу.

Что ж, в таком случае Овидий это возмездие заслужил.

Сумасшествие Мировой Воли

Не существует свидетельств о том, что Артур Шопенгауэр испытывал острую потребность в посещении сумасшедших домов. Известно только, что он их посещал. Известно также, что особую притягательность дома скорби обрели для философа в тот период его жизни, который принято называть дрезденским, то есть в тот самый период – с 1814 по 1818 г., – когда Мировая Воля, пользуясь услугами одного из своих носителей, совершала до крайности странное, не вполне здоровое и, пожалуй, даже совершенно безумное действие: рассказывала себе о самой себе.

Разумеется, она делала это не впервые. «Упанишады», «Мадхьямика-сутры», «Бхагават-гита», «Изумрудная скрижаль» – это первые проявления ее возвышенного недуга и первые же страницы в истории ее загадочной душевной болезни.

Болезнь развивалась стремительно. Более того. Если принять во внимание один ошеломляющий факт, который некогда был установлен самой же Волей и который она затем неустанно описывала от первого или от третьего лица, в тех или иных вдохновенных словах, сводившихся к следующему: земные тысячелетия равны для меня неощутимому мгновению, ибо существование мое безначально и бесконечно, – если принять во внимание этот факт (в сущности, недоступный никакому вниманию, кроме внимания самой Воли), то можно смело утверждать, что болезнь развивалась молниеносно.

Во всяком случае уже к весне 1814 года, когда молодой, двадцати шести лет от роду, человек по имени Артур Шопенгауэр, чрезвычайно раздражавший окружающих, и в особенности свою родительницу, Иоганну Генриетту Шопенгауэр, «мрачным выражением лица и странными оценками, изрекаемыми тоном не терпящего возражений оракула», стал подумывать о переселении в Дрезден, болезнь Мировой Воли достигла катастрофического обострения. Такого обострения, которого не смогла бы пережить ни одна отдельно взятая, пронизанная и порожденная Волей индивидуальность. Не случайно с этого времени в наиболее резких и откровенных речениях Воли о природе индивидуальности отчетливо слышатся ноты предостережения: *«Индивидуальность – это своего рода ошибка, недосмотр, нечто такое, чему бы лучше не быть»*. Она не говорит – моя ошибка и мой недосмотр. Это излишне, ибо в мире, по ее наблюдению, нет другого существа, которое могло бы ошибиться и недосмотреть. *«В этом мире явлений, – было открыто ею, – существует исключительно воля: она – вещь в себе, она – источник всех явлений. Ее самопознание и опирающееся на него самоутверждение или самоотрицание – вот единственное событие в себе»*. За четыре тысячи лет до этого она, называя себя Атманом, говорила то же самое: *«Нет другого, кто видит, кроме него; нет другого, кто слышит, кроме него; нет другого, кто познает, кроме него»*.

И все же некое существо, возникшее в мире по недосмотру или, быть может, напротив, по сокровенному умыслу Воли, – существо, носившее имя Артур Шопенгауэр и обитавшее в одном доме с Иоганной Генриеттой Шопенгауэр, известной в Германии сочинительницей, приняло в мае 1814 года знаменательное решение уехать в Дрезден, чтобы уединиться там для назревающего труда, величие которого уже отчетливо им осознавалось.

Биографы Шопенгауэра, конечно же, не склонны усматривать в этом отъезде из Веймара, положившем начало знаменитому дрезденскому периоду в жизни философа, факт биографии Мировой Воли, как, впрочем, и биографы Мировой Воли, если бы таковые существовали, были бы не склонны усматривать в данном событии факт биографии Шопенгауэра.

Сам Шопенгауэр как таковой (надо сразу это произнести, чтобы дух трескучей теориейки беспардонного доктора Ломброзо не искал здесь себе союзников) находился в абсолютном и нерушимом здравии рассудка и до, и во время, и после названного периода. Он был лишь крайне обижен накануне своего отбытия из Веймара, крайне зол на писательницу Иоганну Ген-

риетту Шопенгауэр. Собственно говоря, и причиной – видимой, явной причиной – его бегства из веймарского дома была озлобленность, вставшая глухой стеной между ним и «этой госпожой», как он с намеренной отстраненностью, чтобы избежать выражений чересчур уж жестоких и пылких, называл свою мать.

Озлобленность возникла еще осенью 1813 года, когда Артур Шопенгауэр, счастливый и окрыленный, явился из Рудольштадта к матери в Веймар. В Рудольштадте вышло в свет отдельной брошюрой его первое философское сочинение «О четверояком корне закона достаточного основания». Он получил за него докторский диплом от философского факультета в Йене. Двух этих оснований – брошюры и диплома – было достаточно для того, чтобы юный доктор пребывал в состоянии того необыкновенного воодушевления, которое его заставило торжественно преподнести матери (сразу же по приезде в ее дом) свой ученый труд. Мать взяла брошюру, повертела ее вялой рукой, утомленно взглянула на заглавие и так же утомленно поинтересовалась:

– Это, вероятно, пригодно аптекарям?

«Выходка», как называют биографы ответный поступок Шопенгауэра, последовала незамедлительно. Артур быстрым движением вырвал из руки Иоганны дарственный экземпляр «Четвероякого корня» и, поблуднев, объявил ей, что даже тогда, когда в затхлых подвалах книгопродавцев истлеют, сгниют никому не нужные сочинения Иоганны Шопенгауэр, когда в кладовке самого скаредного собирателя макулатуры нельзя будет отыскать ни единого листка из ее писаний, когда нигде не останется ни малейшего следа ее жизни, когда не останется даже смутного воспоминания о самом ее имени, мир будет читать *Артура* Шопенгауэра.

– Ну, конечно! – насмешливо возразила Иоганна. – Твои творения и в ту пору будут еще нетронутыми.

Так началась беспощадная война самолюбий в веймарском Доме Иоганны.

Два господина – Фридрих фон Герстенбергк, чрезвычайно малозначительный немецкий писатель, публиковавшийся под псевдонимом Мюллер, и полунищий юноша Иозеф Ганс – ускорили течение этой войны.

Для враждующих сторон каждый из этих господ служил неиссякаемым источником раздражения. Артур, к примеру, готов был стерпеть все – и расточительство Иоганны, пускавшей деньги по ветру – на пышные приемы друзей-литераторов, и ее пустую салонную болтовню, и ее непомерное самомнение, – но вот этого надутого писателя Мюллера, ее любовника, открыто жившего в доме и оскорблявшего тем самым память покойного отца, Генриха Флориса Шопенгауэра, Артур стерпеть не мог. Иоганна, в свою очередь, тоже готова была снести многое – и мрачную серьезность сына, и его «огорчительные дискуссии», которыми он смущал ее жизнерадостно утонченных гостей, и его «ламентации по поводу глупости мира и человеческого убожества», вызывавшие у нее дурные сновидения, – но вот этого ехидного юношу Ганса, университетского товарища, которого Артур поселил в доме, предложив ему даровое жилье, стол и денежную помощь, Иоганна уже не в силах была выносить. Она не в силах была смотреть на то, как молодые люди, объединившись в какой-то злобно-задорный союз, неумоимо издеваются над бедным Мюллером, над его патриотическими взглядами, над его политической благонаправленностью, над его образом жизни (писатель постоянно и важно работал – «занимался», требовал почтения и тишины).

В апреле 1814 года Иоганна объявила, что «на будущее время» она отказывает в столований и Артуру, и его несносному товарищу. Объявила письменно, ибо всякое изустное сообщение между матерью и сыном к тому времени уже прекратилось: по дому гуляли – с одной его половины на другую – длинные письма, полные укоров и изощренных колкостей. Артур в ответ на это выдвинул свой ультиматум. Он потребовал, чтобы мать назначила повышенную плату за стол с него и с Ганса, а заодно решила, с кем ей в «будущем времени» жить – с сыном или с господином Мюллером. Вместо решения мать бросилась защищать Мюллера в нескончаемом

послании. Артур поставил на этом послании свою резолюцию, прибегнув к словам Горация: «*Tirpe putant parere minoribus*».²

На этом война была закончена. Артур сообщил матери, что решение принимает он – он разрывает с ней все отношения и уезжает в Дрезден.

Невидимая, неявная и, в сущности, главная причина отъезда не имела, конечно же, ничего общего с этими сугубо человеческими событиями. Она была связана с тем, что замыслила в порыве нечеловеческого вдохновения Воля помимо воли одного из ее носителей. Носителю оставалось лишь наблюдать за величественным процессом рождения этого замысла и изумляться. И он наблюдал. И искренне изумлялся в своих дневниковых записях веймарского периода:

«...В уме моем зарождается сочинение... Сочинение растет медленно и зреет постепенно, как младенец в утробе матери: я сам не знаю, что возникло раньше, а что – позднее; в моей голове отчетливо вырисовывается сначала один, потом другой из элементов, входящих в состав сочинения...

...Я, здесь сидящий и будто бы известный моим приятелям, и сам-то отчета себе не отдаю в построении моего сочинения, подобно тому, как матери не понятно зарождение младенца в ее утробе. Я только всматриваюсь в свое творение и, как мать, могу сказать, "я благословлен плодом"».

Зреющий плод – и это тоже было отмечено наблюдательным существом по имени Артур Шопенгауэр – вдруг взялся производить изменения в душевном строе самого существа.

Как бы готовя философа к дрезденскому периоду, таинственный плод освобождал его от *principiumindividuationis*,³ которым жива всякая отдельная тварь, будь то жираф или муха. Это было необходимо. Потому что для рождения плода существо должно было превратиться в нечто абсолютно объективное, по крайней мере в своих мыслях и речениях. Оно должно было превратиться в саму Волю, в говорящую Волю, в бессмертную Волю, которой чужды отдельные смертные мухи и жирафы, так же как и отдельные смертные гансы, мюллеры, иоганны, артуры... Артур Шопенгауэр за несколько месяцев до начала дрезденского периода уже ясно ощущал в себе эту ошеломляющую отчужденность. «Я уразумел, что людей вокруг меня объединяет *однородность* и, наоборот, меня от них отталкивает *несродность* им», – покорно отметил он в веймарской записной книжке.

Покорность (внутренняя, не имевшая отношения к внешним событиям) была свойственна ему в это время. Голосу же, наставлявшему его, сопровождавшему процесс превращения его в объективное существо, была свойственна в это время интонация ласковой терпеливости: «*Заруби себе нижеследующее на память, добрая душа...* – да, именно так, с теплотой, с приветливой строгостью стала обращаться с некоторых пор к Артуру Шопенгауэру, называя его то «доброй душой», то «любезным другом», благоволящая к нему Воля, – *заруби себе раз и навсегда, и подумай: люди отнюдь не объективны, а, напротив, субъективны насквозь... Чтобы из этого правила бывали исключения, т. е. исключения полные, я не допускаю; изредка, однако же, случается, что на людей находят объективные минуты; более высокого совершенства не встречается*».

В Дрездене на Артура Шопенгауэра нашли не то что объективные минуты – на него нашли объективные часы, месяцы, годы. Мировая Воля в его разуме и душе обрела язык. И с мая 1814 года в Дрездене она заговорила так, как она не говорила никогда и нигде – ни в гимнах риши, ни в сочинениях брахманов, ни в темных писаниях гностиков. Именно с этого времени Воля начала формулировать свои суждения о себе с беспримерной обстоятельностью

² За постыдное почитают повиноваться младшему (лат.)

³ Принцип индивидуации (лат.)

и поистине оракульской категоричностью, явленной уже в самом названии затейного ею трактата: «Мир как воля и представление».

Конечно, можно легко согласиться с тем мнением, что обстоятельность это просто свойство той нации, на языке которой взялась выражаться Воля, и что, стало быть, нет ничего сверхобычного и уж, тем более, подозрительного в ее речевом поведении. Но справедливости ради надо все же заметить, что на немецком языке ей случалось высказываться и раньше, однако высказывалась она при этом так же, как и всегда; так же, как и на всех других языках, на которых она пыталась изъяснять свое учение о себе. Как именно? В Дрездене она сказала об этом прямо, без всяких недомолвок, с поразительной самокритичностью: *«Намеки на мое учение можно, пожалуй, проследить во всех древних и новейших философских системах, не говоря уже, в частности, о Ведах, Платоне, Канте, о живущей материи Бруно, Глиссона и Спинозы и о дремлющих монадах Лейбница. Учение, предлагаемое мною, однако же, там встречается всегда настолько закутанным в разнообразные одеяния, настолько сплетенным с бьющими в глаза нелепостями и настолько облеченным в причудливые формы, что открыть и узнать его можно лишь путем тщательных изысканий и настойчивых догадок».*

Что ж, время намеков и причудливых форм для нее навсегда закончилось. Настало время выговориться в полную силу. И она выговаривалась; она говорила; она вдохновенно проповедовала свое учение – внушала его самой себе, ибо других собеседников, объявила она в трактате «Мир как воля и представление», где этот мир она назвала всецело своим миром, у нее нет – нет Бога, нет дьявола, нет никаких отдельных существ, нет рождения, нет смерти, нет начала и конца – есть только она, говорящая наедине с собою с предельной ясностью... Гёте был, кажется, первым, кто обратил внимание на эту завораживающую ясность изложения. Сестре Шопенгауэра, Адели, Гёте об этой ясности только и твердил. И Адель, дружившая с падчерицей Гёте Оттилией фон Погвишь и пользовавшаяся неизменной симпатией самого поэта, часто бывавшая у него в доме, с радостью сообщала брату, что Гёте не выпускает из рук трактат «Мир как воля и представление», зачитывается им и все повторяет: какая ясность изложения! какое построение сочинения! какая манера писать!... Но говорит ли о смысле написанного? Нет, не говорит. Потому что смысл того, о чем на протяжении тысячелетий высказывалась Воля, представлялся, быть может, поэтам более ясным тогда, когда он был «закутан в разнообразные одеяния» и «облечен в причудливые формы». Более естественной, более здоровой представлялась, быть может, ее прежняя манера изъяснения, вполне соответствующая форме внутреннего Монолог, которой чужды ясность и обстоятельность, способные выступать самыми верными и самыми неуловимыми признаками безумия в том случае, если в ясности и обстоятельности никто, кроме говорящего, не нуждается.

Да, что-то неуловимо ненормальное происходило в те четыре года, когда в Дрездене Мировая Воля проясняла свое учение о Мировой Воле. И это чувствовали не только поэты. По своему это чувствовали и люди иного, более практического, склада ума. Правда, ненормальность происходившего была для них вполне уловимой, поскольку улавливали они ее там, где улавливать ее им было сподручнее. Доктор Зейдлиц, если уж речь здесь зашла о первенстве, был первым, кто заговорил в связи с трактатом «Мир как воля и представление» об «обострившемся патологическом процессе мысли». Чьей мысли? Разумеется, Шопенгауэра. Исключительно о Шопенгауэре толковал, увы, доктор Зейдлиц в своей книге «Arthur Schopenhauer von medizinischen Standpunkte aus betrachtet»,⁴ опубликованной в Дерпте в 1872 году, – исключительно личность философа подразумевал он, утверждая, что возникновением трактата мы обязаны душевной болезни – мании величия, – которая, по наблюдениям Зейдлица, достигла во время дрезденского периода *stadium incrementi*.⁵ Достигла, все так. Но только к Шопенгауэ-

⁴ Артур Шопенгауэр, с медицинской точки зрения рассмотренный (нем.)

⁵ Стадия обострения (лат.)

эру это не имело ни малейшего отношения. И если он все ж таки заставил рассматривать «*von medizinischen Standpunkte*» именно собственную личность, отведя тем самым подозрительные взгляды от своей Госпожи, которой он верно служил четыре года, пропуская через себя процесс ее мысли, то это свидетельствует лишь об одном – о проявлении высшего благородства философа по отношению к своей больной Госпоже.

Впрочем, на старости лет Шопенгауэр уже не желал проявлять этого благородства. Словно предчувствуя, что после его смерти доктора медицины слишком уж рьяно возьмутся отыскивать «истинные» причины возникновения дрезденского трактата и в этих узкоспециальных поисках, направленных на его личность, распояшутся не на шутку, – словно предвидя, какие диагнозы («анормальная иннервация», «ненормальное функционирование психики», «мания величия», «липемания» и т. д. и т. п.) будут свалены на его голову и доктором Зейдлицем, и доктором Мёбиусом, и совсем уж глумливым доктором Ломброзо, Шопенгауэр старался свою личность от медицинских взглядов спрятать. Он настойчиво повторял, что «Мир как воля и представление» писался помимо его воли и без участия его сознания. То есть он старался говорить правду. В старости, утверждают его первые, наиболее осведомленные биографы, он действительно смотрел на эту книгу с недоумением – как на чужое произведение.

Но как бы то ни было, на протяжении дрезденского периода Шопенгауэр оставался верным слугой своей Госпожи. Тогда она была ему далеко не чужой. Тогда он даже не отделял (не в состоянии был отделять) себя от нее. Он был не то чтобы не в себе – он целиком был в ней. И все, что происходило с Шопенгауэром в Дрездене, происходило на самом деле с ней. Это она посещала сумасшедшие дома. Она вглядывалась в глаза какого-то душевнобольного мальчика, чтобы получше понять, в чем состоит сущность *человеческого* безумия, а мальчик тем временем рассматривал висевшее на шее у человеческого существа по имени Артур Шопенгауэр «стеклышко-очко, в котором отражались комнатные окна и вершины поднимавшихся за ними деревьев: это зрелище приводило его каждый раз в большое удивление и восторг, и он не уставал изумляться ему, – *он не понимал непосредственной причинности отражения*», – делала свои выводы Воля. И называла это детское непонимание «*величайшим примером глупости*» тоже она. И, конечно же, ей и только ей принадлежали знаменитые своей странностью слова, которые прозвучали однажды из уст Шопенгауэра в королевских оранжереях Дрездена.

Это было в самом начале дрезденского периода. Шопенгауэр прогуливался в оранжереях. Он прогуливался там среди диковинных растений. Вдруг остановился и стал очень резко и выразительно жестиковать – так, как будто бы он сопровождал жестами какой-то чрезвычайно бурный, но беззвучный разговор, неожиданно завязавшийся между ним и... Бог его знает кем – рядом с ним никого не было. Где-то поодаль стоял только смотритель королевских оранжерей и с изумлением наблюдал эту необъяснимую сцену. Когда же смотритель, подойдя к жестикующему человеку, поинтересовался у него, кто он такой, ответом ему и были эти слова: «*Если бы вы мне могли сказать, кто я, То я бы считал себя за это весьма вам обязанным*».

К концу дрезденского периода, когда Мировая Воля выяснила, кто она такая, когда она достигла, говоря ее словами, «*полного самосознания, ясного и исчерпывающего знания своей собственной сущности*», доведя в трактате «Мир как воля и представление» до высшего совершенства, до абсолютной внятности свою речь, обращенную к самой себе, человек, при помощи которого осуществилось это «*единственное событие в себе*» – этот акт «*познания, направленного волей на самое себя*», был освобожден от того драматического состояния объективности, в котором он невольно пребывал четыре года, был возвращен самому себе.

Прежняя, человеческая, здоровая субъективность мало-помалу обрела в нем силу. И все же нечто объективное, нечто унаследованное им от своей Госпожи навсегда осталось в Шопенгауэре.

Всем, кому доводилось встречаться с ним во Франкфурте-на-Майне, где он в полном одиночестве провел три последние десятилетия своей жизни, предаваясь чтению книг, играя на

флейте, гуляя с пуделем да изредка появляясь в ресторации отеля «Английский двор», бросалась в глаза его странная склонность разговаривать с самим собою, вести с самим собою обстоятельную беседу, сопровождаемую выразительными жестами. Но даже тогда, когда Шопенгауэру случалось говорить с людьми, его не покидало чувство, что он разговаривает наедине с собою. «Подчас я говорю с людьми, точно дитя с куклой: ребенок хотя и знает, что кукла его не понимает, тем не менее, путем приятного, заведомого самообмана, доставляет себе удовольствие болтовни», – замечал Шопенгауэр.

До конца своих дней – до 21 сентября 1860 года – он продолжал испытывать то, что приучила его испытывать в Дрездене Мировая Воля, говорящая, но не имеющая никаких собеседников в своем мире, где она обречена вечно царствовать и вечно обращаться к себе с ясными речами в безмерном и безбожном одиночестве. Однако и после 21 сентября 1860 года для Шопенгауэра немного изменилось. Просто перестало быть «нечто такое, чему не следует быть», исчезло нечто такое, что имеет предрасположенность быть «субъективным насквозь». Иными словами, самовольное «существование в качестве я» для Шопенгауэра с этого дня вновь прекратилось – с этого дня вновь для него начался дрезденский период.

Время окончания периода неизвестно.

Подвиг Катулла

Ядовитейший римский поэт Гай Валерий Катулл оградил от забвения множество неизвестных имен. Шлюха Амеана, “*puella defututa*” (“издолбанная девка”), требовавшая за свои услуги фантастические суммы, мальчик Ювенций, ходивший по рукам любителей, гетера Постумия, правившая на пирах и оргиях, вороватый Талл, изнеживший в банях свое тело до мягкости “*repe languido senis*” (“дряблого стариковского уда”), поэт Волюзий, написавший “*sacata carta*” (“сраное сочинение”), пересмешильник Эгнатий, чистивший зубы мочой, – все они должны были исчезнуть без следа. Катулл поселил их в вечности.

За сотни лет до своей всемирной славы, которой могло бы и не случиться, если бы в 1300 году в библиотеке одного из монастырей Вероны не обнаружилась нечаянно латинская рукопись под заглавием *Catulli Veronensis Liber* (“Книга Катулла Веронского”), пролежавшая там без внимания около тысячи лет, он предрекал известность всякому, кого коснутся его “*truces iambos*”*::

Что за черная желчь, злосчастный Равид,
В сети ямбов моих тебя погнала?
Что за мстительный бог тебя подвинул
На губительный этот спор и страшный?
Или хочешь ты стать молвы игрушкой?
Иль какой ни есть ты славы жаждешь?
Что ж, бессмертным ты будешь! У Катулла
Отбивать ты осмелился подружку.

Катулл не ошибся: “*truces iambos*” сделали известным некоего Равида. И хотя эта известность ограничивается строгой формулой комментаторов: “лицо ближе неизвестное”, Равид не забыт, как и десятки других обитателей Рима времен заката республики, которых Катулл озарил светом своей славы. Без Катулла эти имена – Аврелий, Фурий, Аллий, Порк, Эмилий, Квинтия, Ипсифилла – ничего не значат. Но есть среди них имя, без которого и сам Катулл, знаменитый своей неумной желчностью и припадками яростного сквернословия, должен был бы представляться потомку, свободному от научного интереса к поэтическим опытам неотериков, злобным, крикливым юродом, потешающим Рим. Это имя Лесбия. Это – любовь Катулла. Это то, что и сделало его великим Катуллом – ядовитым и нежным одновременно.

Историю любви Катулла и Лесбии уже сотни лет вдохновенно реконструируют филологи и поэты. Извлеченная из его стихов, дополненная множеством косвенных сведений и общих соображений, история эта тем не менее остается самым загадочным фрагментом его биографии, которая известна именно фрагментами и главным образом по книге самого Катулла.

Точная дата его рождения не установлена. Согласно христианской Хронике IV века, приписываемой Иерониму Блаженному, он родился в 87 году до Р. Х. Однако хронологические расчеты современных исследователей дают более позднюю дату – 84 год до Р. Х. Его родина – Верона, север Италии, долина реки Пад (ныне По).

Для Рима тогда это была одна из далеких и презренных провинций – *Gallia Cisalpina* – Предальпийская Галлия. Неясно, имел ли отец Катулла римское гражданство. Жители Предальпийской Галлии к этому времени едва успели получить гражданство латинское, отличавшееся от римского существенными ограничениями. Лишь единицы – те, кто занимал должностные посты в своей общине, имели доступ к полному римскому гражданству. Отец Катулла, полагают, мог принадлежать к этим избранным, потому что, во-первых, дружил с Юлием Цезарем, а во-вторых, был богат и знатен. О том, что Цезарь поддерживал с отцом Катулла друже-

ские отношения, сообщает Гай Светоний в своих знаменитых “Жизнеописаниях двенадцати Цезарей”. Однако это сообщение требует некоторых важных для нас уточнений. В 80–70-х годах Цезарь был еще малоизвестным политиком, жившим под постоянной угрозой опалы и судебных преследований. Если отец Катулла дружил с этим Цезарем, то для него это ровным счетом ничего не значило, кроме того, что и на мирного веронца могла распространяться часть опасности, которой была наполнена жизнь римского друга в кровавые времена диктатора Суллы и жестокой смуты, последовавшей за его кончиной. Но и Цезарь 60-х годов, когда карьера его начала бурно развиваться, был еще не тем Цезарем, дружба с которым могла возвысить далекого провинциала, ибо римский друг и сам на каждом шагу чудом избегал падений, ускользая то от могущественных обвинителей, то от обнаженных мечей родовитой толпы, встречавшей его при выходе из сената. Лишь много позже, когда Цезарь стал пожизненным консулом, пожизненным диктатором, вечным императором и “отцом отечества”, он мог даровать римское гражданство не только отдельному жителю Вероны, но и всему населению Предальпийской Галлии в целом, что он и сделал в середине 40-х годов. Но время это уже не связано с Катуллом.

Что же касается знатности отца, предположительно открывавшей ему доступ к магистерской должности, которая одна и превращала уроженца Предальпийской Галлии в римского гражданина, то о знатности не существует никаких сведений, как и о том, что отец Катулла когда-либо был магистратом в Вероне. О богатстве же установлено – по стихам Катулла – только одно: недалеко от Вероны на южном берегу Бенакского озера (ныне оз. Гарда) у отца была вилла, стоявшая на мысе Сирмион. Возможно, именно там Катулл и вырос. Впрочем, о его детстве ничего не известно, кроме того, что в раннем возрасте, еще до совершеннолетия, он пережил сильное потрясение – кончину горячо любимого брата, погибшего при неизвестных обстоятельствах в поездке на Восток, в Троаду где он и был похоронен. Много лет спустя, очутившись в тех краях и разыскав там вблизи древней Трои драгоценную могилу, Катулл горько рыдал, проливая над ней, как он выразился в своей скорбной элегии, “обильные потоки нескончаемых слез”.

Итак, если опираться на факты, пусть малочисленные, но установленные, Катулл ко времени его приезда в Рим и встречи с Лесбией был безвестным провинциалом, не обладающим ни родовитостью, ни богатством, ни римским гражданством. Все его достояние составляли лишь несколько юношеских стихов, известных Корнелию Непоту который тоже был родом из Предальпийской Галлии, но в Риме уже успел прославиться историческими трудами. Ему Катулл впоследствии и преподнес свою книгу, не забыв упомянуть в посвящении, что Непот еще тогда имел обыкновение “*aliquid putare*” (“во что-то ставить”) его “*nugas*” (“безделки”), когда сочинял свои знаменитые Хроники в трех томах, то есть приблизительно в 60 году до Р. Х. Этот год и принято считать годом приезда Катулла в Рим.

Разумеется, прозорливый Непот, а вместе с ним и другие выходцы из Предальпийской Галлии – поэт Гельвий Цинна и оратор Лициний Кальв, – не просто “во что-то”, а очень высоко ставили Катулла; в Риме они вскоре сделались его близкими друзьями. Но на спесивый взгляд потомственных римских аристократов безродный веронец, наделенный второсортным латинским гражданством, “правом Лациума”, как оно называлось, должен был выглядеть персоной если не ничтожной, то вполне незначительной, пригодной лишь для того, чтобы пополнить в качестве клиента пеструю свиту именитого патрона.

Такой персоной он, вероятно, и представлялся Квинту Метеллу Целеру, сенатору, происходившему из знатного римского рода и избранному в 60 году консулом. По приезде в Рим Катулл очутился в его свите. Это, конечно, не было чистой случайностью. Совсем недавно, в 62–61 годах, Метелл занимал должность наместника Предальпийской Галлии, и для Катулла как выходца из этой провинции было естественно искать у него покровительства в Риме. Хотя не менее, а может быть, даже и более естественно было бы попытаться счастья в свите отцовского

товарища, который добился консульства на следующий, 59 год. Но Катулл почему-то этого делать не стал. Мало того, он принялся поносить Цезаря с неудержимым, кривляющимся ехидством в стихах столь же отточенных, сколь и непристойных. Без всякой объяснимой причины – комментаторы только разводят руками – он поначалу вдруг сделал персонажем своих глумливых инвектив цезарианского офицера по имени Мамурра, по должности *praefectus fabrum* (начальник саперного отряда). Катулл пожаловал ему в стихах другую “должность” – *mentula*, – выражение столь впечатляющее, что точный его перевод на русский заставил бы переводчиков слишком резко выходить за рамки академического приличия или вносить сумятицу в звучные строки, вставляя то там, то сям беззвучный осколок – “х...”, и поэтому его принято переводить всевозможными эвфемизмами – от “хлыща” до “хрена” или оставлять без перевода в русской транскрипции. Упиваясь собственным неистовством, Катулл поносил все и вся, что было связано с этим Мамуррой-ментулой родом из города Формий, – его блуд, его стишки, его богатства, нажитые на должности не блистательной, но вполне воровской (саперный отряд занимался строительными работами и доставкой провизии), его подружку Амеану ту самую, за которой последовало в бессмертие выражение “*puella defututa*”, – и в какой-то момент, то ли под воздействием нервного задора, входившего в состав его вдохновения, то ли в силу особого поворота поэтической мысли, он связал с ним и Цезаря:

Отвратительно схожи эти двое,
Блудозадые Кесарь и Мамурра.
И не диво, что пятна к ним обоим
(те – формийские, римские – вот эти)
припечатались намертво, не смоешь:
пара – два сапога, одни пороки,
оба умники, вместе делят ложе,
где не ясно, кто больше ненасытен,
сообща отправляются к малышам, —
отвратительно схожи эти двое.

На Цезаря это произвело убийственное впечатление. *Praefectus fabrum* Мамурра, сколько бы он ни наворовал, находясь при легионах Цезаря сначала во время его испанского наместничества в 61 году, а затем и в галльских походах, был, конечно, фигурой не сопоставимой с полководцем, – Цезарь даже ни разу не упоминает этого соратника в “Записках о Галльской войне”. Очутиться в “злых ямбах” Катулла рядом с ничтожным сапером было для него, пожалуй, двойной обидой, такой обидой, что ее выражение – несомненно, публичное – дошло через 180 лет до Светония. “Валерий Катулл, по собственному признанию Цезаря, – сообщает он, – заклеил его вечным клеймом в своих стишках о Мамурре, но, когда поэт принес извинения, Цезарь в тот же день пригласил его к обеду, а с отцом его продолжал поддерживать обычные дружеские отношения”. Да, извинился, явился на обед. Однако после этого еще более утонченно издевался над Цезарем, то выказывая к нему презрительное равнодушие – “Знать не хочу я совсем, черен ты или бел”, – то рисуя его соратников не черными и не белыми красками, а чистым ядом:

Голова у Отона с черепочек;
Ляжки моет Герий, но по-мужицки;
Воздух портит Либон при всех неслышно, —
Ты и сам бы от них отворотился,
И Суфиций, в котле варенный дважды,
Будешь вновь на мои сердиться ямбы

Недостойные, первый полководец?

В свите сенатора Метелла Катулл оставался недолго. В 59 году покровитель неожиданно скончался, отравленный, по убеждению современников, собственной женой. Считается, что именно с этого времени началась история любви Катулла и Лесбии.

Обстоятельства могли бы сложиться так, что исследователи никогда бы не установили, кем была героиня этой истории. По стихам Катулла, где в образе Лесбии сосредоточены одновременно вся волшебная красота небесных богинь и все буйное б...ство кабаков и переулков Рима, ее можно было бы представлять кем угодно – потаскушкой с улицы Субура, какой-нибудь вольноотпущенницей, римской гетерой или некой лесбосской девушкой, жительницей острова Лесбос, – таков точный смысл псевдонима “Lesbia”, который Катулл дал возлюбленной. Псевдоним остался бы нераскрытым, если бы не цепь случайностей. Два века спустя после смерти Катулла ритор Апулей, автор знаменитого “Золотого Оsla”, нечаянно захворал по дороге в Александрию. Болезнь заставила его остановиться в Эе, одном из городов Проконсульской Африки. Там он неожиданно для себя женился на богатой вдове по имени Пудентилла, соблазнившись мыслью о семейном покое. Женитьба обернулась для него судебным процессом: родственники Пудентиллы обвинили его в развратном поведении и магических действиях – он будто бы околдовал вдову, которая много лет упорно отказывала всем, кто к ней сватался. Обвинение грозило Апулею смертной казнью, и потому он – на радость грядущим исследователям – подготовился к процессу, происходившему в городе Сабрате под председательством проконсула Африки, с чрезвычайной обстоятельностью – написал обширную речь в свою защиту – “Апологию”. В одном из ее пунктов он процитировал свои любовные стихи, служившие на суде доказательством его “крайней разнузданности” (в них воспевались два мальчика), и, обращаясь к проконсулу Клавдию Максиму, сказал:

“Вот тебе, Максим, мое преступление, составленное из одних гирлянд и песен. Ну прямо – закоренелый прожигатель жизни, не так ли? Ты обратил внимание, как меня порицали здесь даже за то, что хоть у мальчиков другие имена, я называл их Харином и Критием? Да, но ведь в таком случае можно было бы обвинить и Гая Катулла, за то, что он Клодию назвал Лесбией...”

Так открылось ее настоящее имя. Клодия.

Она принадлежала к древнейшему патрицианскому роду Клавдиев, который со времен республики в каждом поколении давал Риму консулов, диктаторов и цензоров. Среди ее предков были легендарная дева-весталка Квинта Клавдия, которая, по преданию, силой молитвы сняла с мели и провела вверх по Тибру корабль со святынями богини Кибелы, и не менее легендарный консул Аппий Клавдий Слепой, при котором были построены первый римский водопровод, названный его именем, и дорога от Рима до Капуи – знаменитая Аппиева дорога. Вся родня Клодии была на виду и в те времена, о которых идет речь. Ее отец занимал должность консула в 79 году. Брат Публий Клодий в годы жизни Катулла в Риме стал народным трибуном, которого плебеи провозгласили своим вождем. Старшая сестра была замужем за консулом 68 года Квинтом Марцием Рексом, младшая – за полководцем Лукуллом, сводная – за Помпеем Великим. Сама же Клодия была женой Метелла – того знатного сенатора, в свиту которого судьба привела безродного веронца, чтобы он мог увидеть вблизи ослепительное божество:

Тот с богами, кажется мне, стал равен,
Тот богов превыше, коль то возможно,
Кто сидит напротив тебя и часто
Видит и слышит,
Как смеешься сладко, – а я, несчастный,
Всех лишаюсь чувств оттого, что тотчас,
Лесбия, едва лишь тебя увижу, —

Голос теряю,
Мой язык немеет, по членам беглый
Заструился пламень, в ушах заглохших
Звон стоит и шум, и глаза двойною
Ночью затмились.

Но это далеко не все, что стало известно о воспетой Катуллом Лесбии, благодаря тому, что ритор Апулей однажды вымолвил ее настоящее имя.

Не одна только «Книга Катулла Веронского» увековечила ее образ. Под собственным именем она выступает персонажем и другого уцелевшего произведения – «Речи в защиту Марка Целия» («Pro M. Caelio oratio»), написанной Цицероном и произнесенной им 4 апреля 56 года до Р. Х. перед трибуналом претора Гнея Домиция Кальвина.

Клодия участвовал в этом процессе. Более того, именно она тайно направляла все действия обвинителей (в их числе был и ее брат Публий), которые привлекли к суду юного оратора Марка Целия – ее любовника и близкого друга Катулла. Целию среди прочего вменялась в вину попытка отравить Клодию при помощи ее же золота, которое он будто бы использовал для приобретения яда и подкупа рабов-исполнителей. Образ Клодии, нарисованный в этой речи, лишен той восхитительной двойственности, какую ему сообщает поэзия Катулла. Не выказывая ни малейшего признака божественности, Клодия у Цицерона предстает родовитейшей римской шлюхой, оскверняющей своим необузданным развратом священную память великих предков, в особенности же легендарной весталки и доблестного Аппия Слепого, от лица которого Цицерон – как бы вызвав на суд его дух из царства мертвых – возглашал, обращаясь к Клодии:

“Для того ли расстроил я заключение мира с Пирром, чтобы ты изо дня в день заключала союзы позорнейшей любви? Для того ли провел я воду, чтобы ты пользовалась ею в своем разврате? Для того ли проложил я дорогу, чтобы ты разъезжала по ней в сопровождении посторонних мужчин?”

Цицерон ничего не упустил в пылу изобретательного красноречия. Он позаботился, чтобы претор Гней Домиций узнал Клодию как можно ближе. Он рассказал суду о ее поездках в Байи – курортный городок близ Неаполя, который со времен поздней республики был одинаково знаменит на всю Италию целебными источниками, морскими купаниями, роскошными термами и привольным блудом, царившим там повсеместно. “Уверяю вас, – вешал Цицерон, – Байи не только говорят, но даже гремят о том, что одну женщину ее похоть довела до того, что она уже не ищет уединенных мест и тьмы, обычно покрывающих всякие гнусности, но, совершая позорнейшие поступки, с удовольствием выставляет себя напоказ в наиболее посещаемых и многолюдных местах и при самом ярком свете”. Он обрисовал ее дом, “где мать семейства ведет распутный образ жизни, откуда нельзя выносить наружу ничего из того, что там происходит, где обитают беспримерный разврат, роскошь, словом, все неслыханные пороки и гнусности”. Он дал понять, что само обвинение, исходящее из этого дома – “из враждебного, из опозоренного, из жестокого, из преступного, из развратного”, – есть лишь открытая демонстрация свирепой похоти “безрассудной, наглой, обозлившейся женщины”, обозлившейся, разумеется, на Марка Целия, который в какой-то момент вдруг решил разорвать с ней любовную связь. И, наконец, Цицерон поведал суду и о том, чего “нельзя выносить наружу” и что хорошо было известно его подзащитному, проводившему в “преступном доме” не только дни, но и ночи. По ночам Клодия совокуплялась со своим младшим братом, народным трибуном Публием Клодием. Возможно, именно это и послужило для Целия причиной разрыва с неверной любовницей, которая “cum suo coniuge et fratre” *, как Цицерон называет Публия, разыгрывала перед ним изощренный спектакль: их кровосмесительное супружество Цицерон описывает, вероятно, со слов Целия, как отвратительную симуляцию болезненно-нежной братской любви. “Но

если ты предпочитаешь, чтобы я говорил с тобою вежливо, – обращается он к Клодии, – я так и заговорю: удалю этого сурового старика (то есть Аппия Слепого, от имени которого Цицерон высказывался до этого момента); итак, я выберу кого-нибудь из твоих родных и лучше всего твоего младшего брата, который в своем роде самый изящный; уж очень он любит тебя; по какой-то странной робости и, может быть, из-за пустых ночных страхов он всегда ложился спать с тобою вместе, как малыш со старшей сестрой”.

Вежливо Цицерон, конечно, не заговорил с ней. Он продолжал называть ее на протяжении всей речи, произносившейся на форуме перед собранием почтенных мужей, свидетелей и народа, “распутницей”, “развратницей”, “преступнейшей женщиной”.

Клодия была уничтожена.

После этого процесса, на котором Целий был оправдан по всем пунктам обвинения, она исчезла с горизонта римской жизни. В дальнейшем никаких сведений о ней не появляется в древних источниках. Предполагают даже, что удар для нее был столь сильным, что она вскоре умерла.

Но было ли это безжалостное обличение Лесбии ударом для Катулла? Ему, несомненно, были знакомы все обстоятельства судебного процесса против его близкого друга и сама “Речь в защиту Целия”, обернувшаяся катастрофой для его божества. Комментаторы до сих пор не могут сойтись во мнении, какое чувство он выразил в стихотворении, обращенном к Цицерону:

О Марк Туллий! О ты, речистый самый
Из праправнуков Ромула на свете
В настоящем, прошедшем и грядущем!
Благодарность тебе с поклоном низким
Шлет Катулл, наихудший из поэтов.
Столь же самый плохой из всех поэтов,
Сколь ты лучше всех прочих адвокатов!

Было ли это стихотворение нечаянным откликом уязвленного сердца на обдуманную и тонко выстроенную казнь возлюбленной? Или, может быть, оно вообще не имело никакого отношения к апрельскому процессу 56 года, а было всего лишь ироническим ответом, “вызванным нападками Цицерона на новое литературное течение, к которому примыкал Катулл”, как трактуют некоторые комментаторы, не учитывая, впрочем, того обстоятельства, что Катулл уже примыкал к Небесам в то время, когда Цицерон сформулировал в “Тускуланских беседах”, “Ораторе” и “Письмах к Аттику” свое недовольство поэзией “неотериков”, то есть “новых стихотворцев”, как он их называл. Но если речь здесь все же идет о Лесбии, то что содержат в себе эти строки – одно лишь злобное ерничество? Обиду? Или в них действительно выразилась горестная благодарность Цицерону, к которому Катулл “мог хорошо относиться за его речь “За Целия” против изменницы Клодии”, как толкуют другие комментаторы.

Ответ на эти вопросы можно найти лишь вместе с ответом на главный вопрос – кем была Лесбия для Катулла? В самом ли деле она когда-нибудь была его любовницей?

О да, конечно, он знал о ней многое! В том числе и все то, что говорилось на суде. Это о ней и ее брате – об их кровосмесительной связи – он писал, называя Публия Клодия Лесбием, с такой мстительной желчностью:

Лесбий красавец, нет слов! И Лесбию он привлекает
Больше, чем ты, о Катулл, даже со всею родней.
Пусть он, однако, продаст, красавец, Катулла с роднею,
Если найдет хоть троих поцеловать его в рот.

Это ее, Лесбию, он так жадно разыскивал по “разнузданным кабакам” и находил ее там в родовитой “кабацкой своре” на коленях “паршивых кобелей”, которые тешились с ней “все до одного”, похваляясь своими ментулами, – Катулл же в припадке вдохновенного бешенства отвечал им буйными поношениями:

с чего бы это только лишь у вас члены?
и только вам дозволено всех малышей
перепереть, козлами посчитав прочих?
Ужели, если сотня или две сселось,
неостроумных, вместе вас, – мне две сотни
не отмужичить в одиночку сидящих?
Нет, – лучше я и вдоль и поперек стены
кабацкие снаружи испишу бранью!

Это о ее поцелуях он писал с такой воспаленной страстью, мечтая, чтобы Лесбия подарила ему их столько же, “сколько лежит песков сыпучих / Под Киреною, сильфием поросшей, / От Юпитеровой святыни знойной / До гробницы, где Батт схоронен древний”. Это на смерть ее ручного воробушка он слагал пародийно величественные эпитафии, поражавшие потом своей нежностью Марциала. Для ее забавы бросал в огонь ““Лет” Волюзия сраные страницы”. Во славу ее красоты глумился над признанными красавицами Рима, среди которых была и любовница Мамурры Амеана, не избежавшая его злобно-юродских приветствий:

Добрый день, долгоносая девчонка,
Колченогая, с хрипотою в глотке,
Большерукая, с глазом, как у жабы,
С деревенским, нескладным разговором,
Казнокрада формийского подружка!
И тебя-то расславили красивой?
И тебя с нашей Лесбией сравнили?
О, бессмысленный век и бестолковый!

В истории этой любви было все – и безмятежно-счастливое начало, и яростная ревность, и уличения в неверности, и жестокие размолвки, и проклятия, и клятвы, и слезы, и радостные примирения. Был и окончательный разрыв. Его соотносят с самым горестным стихотворением из посвященного Лесбии цикла, который беспорядочно рассеян по “Книге Катулла Веронского”, произвольно составленной из 116 произведений поэта каким-то неизвестным его земляком во времена поздней античности. По этому – 11-му – стихотворению, в котором явственно проступает дата его написания, устанавливаются хронологические рамки любовного романа, завершившегося полной катастрофой:

Фурий, ты готов и Аврелий тоже
Провожать Катулла, хотя бы к Инду
Я ушел, где море бросает волны
На берег гулкий.
Иль в страну гиркан и арабов пышных,
К сакам и парфянам, стрелкам из лука,
Иль туда, где Нил семиустый мутью
Хляби пятнает.
Перейду ли Альп ледяные кручи,

Где поставил знак знаменитый Цезарь,
Галльский Рейн увижу иль дальних бриттов
Страшное море —
Все, что рок пошлет, пережить со мною
Вы готовы. Что ж, передайте милой
На прощанье слов от меня немного,
Злых и последних.
Со своими пусть кобелями дружит!
По три сотни их обнимает сразу,
Никого душой не любя, но печень
Каждому руша.
Только о моей пусть любви забудет!
По ее вине иссушилось сердце,
Как степной цветок, проходящим плугом
Тронутый насмерть.

Стихотворение было написано не раньше 55 года до Р. Х., когда Цезарь с огромным войском совершил первый переход через Альпы. Именно это событие упомянуто в третьей строфе: “sive trans altas gradietur Alpes, / Caesaris visens monumenta magni”.

Из этого следует, что “злые и последние слова” были сказаны поэтом уже после судебного процесса 56 года. Однако по общему убеждению исследователей Клодия уже не могла быть в это время любовницей Катулла, ибо процесс круто изменил ее судьбу, если не поставил в ней финальную точку. Да и сам Катулл, страдавший, как явствует из некоторых его стихов, чахоткой, был тогда на пороге смерти, последовавшей предположительно в 54 году до Р. Х.

Но когда в таком случае, в какой период его римской жизни возник, развился, прошел через множество темных и светлых стадий и завершился мрачным разрывом этот любовный роман, который вобрал в себя всю гамму переменчивых чувств любовников и выразился в стихах Катулла, как признают филологи, с еще невиданной для античной поэзии полнотою?

Могла ли Клодия стать любовницей поэта в тот же год, когда он переехал из Вероны в Рим? По мнению одного из самых авторитетных исследователей древнеримской литературы Михаила Гаспарова, чьи комментарии и статья сопровождают академическое издание “Книги Катулла Веронского”, это маловероятно. “До 59 г. Клодия была замужем и заведомо вела себя более сдержанно”, – отмечает он. К этому нужно добавить, что сенатор Метелл и римский закон, сурово каравший за супружескую неверность, должны были сдерживать не только Клодию, но и Катулла – приезжего веронца, латинского гражданина, человека из свиты, которого всесильный патрон мог просто стереть с лица земли при малейшем намеке на любовную связь со своей супругой. Во всяком случае, при жизни Метелла Клодия едва ли могла стать той Клодией, которая дарила Катуллу неисчислимые поцелуи и которую пускали в кабаках по кругу “semitarii moechi” (“закоулочные кобели”).

Но можно ли предположить, что Клодия потому и отравила мужа, что у нее завязались какие-то тайные отношения с Катуллом, которого она сделала своим любовником, освободившись от брачных уз? Предположение заслуживало бы внимания, если бы не было известно, что после кончины Метелла любовником Клодии стал Целий. Ради него она и в самом деле могла решиться на преступление. Богатый, чрезвычайно дерзкий, обворожительно красивый (даже один из его обвинителей, Атратин, называет его “красавчиком Ясоном”), Целий был потомственным римским всадником. Его карьера была на взлете. Как раз в это время он приобрел скандальную известность, ворвавшись в римскую политику благодаря громкому делу консула 63 года Гая Антония, которого он привлек к суду за вымогательство и выиграл этот процесс у самого Цицерона, своего учителя, выступавшего защитником. В Риме уже боялись не только

остроумных и виртуозных речей Марка Целия, но и его свирепых выходок. Этот неукротимый *splendidus* * мог позволить себе все – ударить сенатора на выборах верховного понтифика, избить послов Александрии, в том числе и их главу, философа Диона, затеять с неизвестной целью, – быть может, только ради куража, – мятеж в Неаполе, подкупить своих избирателей на выборах в квесторы. Словом, это был не созерцатель жизни, а ее безоглядный герой. Нет ничего удивительного, что своим героем его избрала и Клодия, жадная ко всем проявлениям жизни. Целий поселился с ней в одном доме на Палатинском холме, арендовав помещения у ее брата Публия, которому он платил за них очень щедро – по 10 000 сестерциев в месяц. Мы не будем утверждать, что Целий мог участвовать вместе с Клодией в отравлении ее мужа, доведшегося ей, между прочим, двоюродным братом (кровосмешительство было у нее в крови). Скажем только, что по какой-то причине Клодия страшилась именно яда, когда дело дошло до развязки ее романа с Целием. Развязка же, как нам известно, была и без яда драматической; по ней можно судить, какие сильные страсти бушевали в сердцах героев до тех пор, пока на форуме перед судьями не вырвалось наружу все, что их мучило и возбуждало, – коварство, подозрения, сожительство с братом, развеселые Байи... Они были любовниками с 59 по 57 год.

Роман Катулла, столь же страстный и полнокровный, можно было бы поместить в тот промежуток времени, когда Целий и Клодия, разорвав отношения, готовились к судебному процессу. Однако доподлинно известно, что как раз в это время Катулла не было в Риме. В 57 году он уехал на Восток, в Вифинию, с претором Гаем Меммием, в свиту которого перешел после смерти Метелла. Он надеялся разбогатеть в этой поездке щедростью нового патрона, а заодно разыскать близ Трои могилу брата. Последнее, как мы знаем, ему удалось, первое нет. Разочарованный, он вернулся в Италию лишь в 56 году, и притом вернулся не в Рим, а в свою родную Верону. Не исключено, что в том же году он снова приехал в столицу. Но это уже – год процесса Целия. Круг замыкается. И, кажется, в этом круге нет места для знаменитой любовной истории Лесбии и Катулла. Хотя место исследователи ищут уже давно и старательно.

Гаспаров, например, признает, что стихи о Лесбии датируются по большей части 57–55 годами, когда она не могла быть любовницей поэта. “Стало быть, ее роман с Катуллом, – пишет он, – лишь краткая промежуточная или попутная интрижка довольно раннего времени, а стихи о ней Катулла (по крайней мере некоторые) – произведения очень поздние”.

Этот непостижимый хронологический сдвиг побудил ученого выдвинуть гипотезу, которая тоже содержит в себе элемент непостижимости. “Обязаны ли мы представлять себе любовные стихи Катулла, – размышляет он, – мгновенными откликами на события его отношений с Лесбией? Нельзя ли представить, что многие из них были написаны позже, по воспоминаниям, ретроспективно?” Гаспаров при этом ссылается на феномен Афанасия Фета, который “лучшие свои стихи о молодой любви написал в старости, по воспоминаниям, ретроспективно”. Даже ничего не зная о поздней любовной лирике Фета, можно легко согласиться с тем, что старик, у которого давно уже затянулись в душе мучительные и сладостные язвы “молодой любви” и который силой обострившейся памяти переносится в далекое прошлое, к “былому счастью и печали”, – образ вполне реальный. Но вот молодой человек, который вскоре после крушения любовных чувств и надежд воспроизводит с невозмутимостью шарманщика не спетые в срок нежные песни сердца, предназначенные для той, что совсем недавно сердце ему и надорвала, заслужив его яростные проклятия, – образ почти фантастический. К тому же здесь подразумевается, что любовная история Катулла и Лесбии возникла в первые годы его жизни в Риме. Но помимо высказанных выше соображений есть одно очень важное свидетельство, которое делает эту версию сомнительной. Оно содержится в стихах самого Катулла – в его пространной элегии под номером 68, посвященной некоему Аллию. Из нее явствует, что в “раннее время” у Катулла была совсем другая любовь – “*candida diva*”*, как он ее называет. Она была женою Аллия, в доме которого Катулл поселился, переехав из Вероны в Рим. Поэт вспоминает об этой

поре с восторгом. “Богиню” они делили с Аллием на двоих, это была их “*communis amor*”*. Катулл был безмерно благодарен другу:

Аллий бывал для меня – верный помощник в беде.
Поприще он широко мне открыл, недоступное прежде.
Он предоставил мне дом и даровал госпожу,
Чтобы мы вольно могли там общей любви предаваться.

Этот тройственный союз был столь самодостаточным и счастливым для всех участников, что Аллий спустя годы слал Катуллу в Верону письма, упрасывая его вернуться к их прежней совместной жизни. И речь он при этом вел не только о “дарах Венеры”, но и о “дарах Муз”, из чего следует, что, кроме телесных наслаждений, любовников связывали еще утонченные, не лишённые поэтического начала чувства. Не случайно Катулл посвятил этой любви одно из самых крупных своих произведений, над которым комментаторы до сих пор ломают голову, задаваясь самыми отчаянными вопросами, например: а могла ли “*candida diva*” быть Лесбией? Нет, не могла. Катулл, говоря об Аллии и той, с которой они в его доме “знали утехи любви”, прямо называет ее – “*dominae*”, что означает госпожа; хозяйка дома; супруга.

Лесбия была хозяйкой другого дома, и в этом доме Катуллу не светило любовное счастье. Да и не могло светить, хотя бы уже потому, что “реальная Клодия, – как выражается Гаспаров, – была знатной женщиной”. Да, более чем знатной. Ученый, между прочим, изумляется тому факту, что при всей знатности Клодии, ставившей ее “гораздо выше безродного молодого веронца”, в стихах Катулла “нигде, ни единожды не мелькает взгляд на Лесбию снизу вверх <...> Он говорит о ней как о равной или как о низшей”. Это, конечно, тоже странно.

Что ж, в высшей степени странным должно выглядеть и то предположение, к которому нас неизбежно приводят все обстоятельства, сопровождающие эту любовную историю.

В трактате датского философа Сёрена Кьеркегора “Страх и трепет” есть глава под названием “Похвальная речь Аврааму”. В ней говорится: “...Подобно тому как Господь сотворил мужчину и женщину, он создал героя, а с ним – поэта или писателя. Последний не может делать того, что первый, он способен лишь восхищаться героем, любить его, радоваться ему. Однако он так же счастлив, и не менее, чем тот, первый, ибо герой – это как бы его собственная лучшая сущность, в которую он влюблен; при этом он радуется, что это все же не он сам, и его любовь может поистине быть восхищением. Сам он – гений воспоминания, он не может ничего сделать, не восхитившись тем, что сделано; он ничего не считает своим, но он ревнует к тому, что ему доверено. Он следует выбору своего сердца, однако стоит ему найти искомое, как он снова начинает бродить возле всех ворот со своими песнями и речами, чтобы все могли восхищаться героем так же, как он, чтобы все могли гордиться героем, как он. Это и есть его достояние, его скромное достижение, в этом и состоит его верная служба в доме героя”.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.